

## ВВЕДЕНИЕ

### «Выход из Африки» как научная революция

Более полувека назад американский философ Т. Кун ввел в обращение термины «научная парадигма» и «научная революция». Кун доказывал, что накопление знаний не является необходимым признаком науки. Одна теория сменяет другую не потому, что лучше отражает реальность, а потому что ученое сообщество считает ее удобнее. Описав механизм смены парадигм, Кун само развитие научного знания низвел до этого механизма. Он пытался показать, что смена парадигм в ходе научных революций приводила к такой трансформации картины мира, которая делала диалог между сторонниками прежних и новых взглядов неплодотворным. Все парадигмы в равной мере верны, пока научное сообщество их принимает, и все ошибочны, оказавшись отвергнуты.

Революции, о которых писал Кун, происходили в точных науках в XVIII–XIX веках. В то время наши представления о мире основывались на столь отрывочных фактах, что обретение нового знания действительно нередко вело к полному пересмотру взглядов. Последний по времени переворот подобного рода, вероятно, произошел в геологии после открытия дрейфа литосферных плит. Однако по мере развития науки революции все меньше определяют ее развитие. Точнее сказать, наука вступила в эпоху «перманентной революции», когда новая информация если не ежедневно, то ежегодно заставляет вносить изменения в сложившуюся картину мира. За несколько десятилетий эта картина способна кардинально преобразиться, но сам процесс постепенен. Признание того, что любые конкретные факты будут, возможно, интерпретированы не так, как сейчас, не отменяет нашей убежденности в накопительном и объективном характере научного знания в целом. «Лучшее доказательство истинности в испытании», — писал Фирдоуси задолго до Маркса. В гуманитарных науках эксперимент невозможен, но есть и другие способы отделить обоснованные гипотезы от необоснованных.

Изменения в представлениях о характере исторического процесса, которые имели место в последние десятилетия, также осуществились постепенно и почти незаметно. В этой постепенности был и свой минус: раз открытия не носят сенсационного характера и не меняют немедленно взгляда на мир, общество их не замечает и теряет к науке интерес. Для значительной части наших современников, в том числе получивших высшее образование, образ мира и образ истории остались в общем и целом такими же, какими они были полвека назад, хотя изменения, произошедшие за это время, огромны.

Накопление фактов естественным образом привело к отказу от стадиялизма, т.е. от восприятия прошлого как лестницы с определенным числом ступеней. Подобное восприятие является единственно возможным, если число известных нам точек мало по сравнению с тем пространством, в котором они рассеяны. Раз невозможно определить связи между точками, мы, наблюдая рост их числа, проводим условные границы между зонами с разной плотностью. Однако по мере увеличения числа точек они начинают складываться в линии или фигуры, которые могут располагаться внутри выделенных зон, но могут и пересекать их. Именно такой переход от проведения условных границ между стадиями к выделению реальных исторических сообществ и прослеживанию путей их развития произошел в последние десятилетия в области изучения древней истории.

Отказу от стадиялизма в изучении дописьменных обществ способствовало немало открытий. Одним из важнейших является вывод, что люди современного типа, чье биологическое выживание невозможно без обучения культурным навыкам и стереотипам [Geertz 1973: 43–51], не развились параллельно и самостоятельно на разных континентах, а являются потомками одной единственной популяции, которая относительно недавно вышла из Африки [Бурлак 2011: 152–153; Barham, Mitchell 2008: 292; Derenko et al. 2007; Eriksson et al. 2012: 16089–16090; Mellars 2006; Metspalu 2005; Rootsi 2004; Vishnyatsky 2005; Xing Gao, Norton 2002; Zilhro 2006]. В какой мере представители этой популяции смешивались по мере своего расселения по ойкумене с теми потомками антропоидов, которые покинули Африку значительно раньше и тоже обладали определенными культурными стереотипами, пока не ясно. Изучение региональных каменных индустрий скорее свидетельствует об их преем-

ственности в период между 80 и 30 тыс. л.н., нежели о резкой смене, обусловленной приходом нового населения [Деревянко 2009; 2010; 2011; Козинцев 2003; 2004]. Однако подавляющее большинство генетиков не сомневается в том, что даже если смешение происходило, роль выходцев из Африки была доминирующей. При изучении митохондриальной ДНК, которая передается только по женской линии и не участвует в обмене генетическим материалом при оплодотворении, оказалось, что у современных людей представлено 14 основных митохондриальных линий. Все они обнаружены в Африке и только одна — у остальных популяций от англичан до австралийских аборигенов и от арабов до эскимосов. Позже сходные результаты были получены при исследовании Y-хромосомы, передающейся только по мужской линии — генетическое разнообразие африканцев гораздо выше, чем населения других континентов.

За десятилетия, истекшие со времени открытия «выхода из Африки», эта гипотеза лишь находила новые подтверждения. Вместе с тем картина ранних миграций сапиенсов за пределы африканского континента все усложняется, причем некоторые уточнения крайне важны для тематики нашей книги. Наиболее существенная поправка — вывод о двух волнах миграции [Pugachetal 2013; Rasmussen et al. 2011]. Первая, древностью 75–62 тыс. л.н., достигла Юго-Восточной Азии и Австралии, точнее древних массивов суши — Сахула и Сунды. Гены пришедших туда людей сохранились у австралийцев и горных папуасов, а также у меланезийцев острова Бугенвиль, вероятно, у филиппинских аэта и, может быть, у некоторых южноазиатских групп.

У представителей этой первой волны заметна значительная (6,3 %) примесь так называемых денисовских генов. Имеется в виду генетический материал, полученный из костных останков, найденных в Денисовой пещере на Алтае. «Денисовцы» отличались как от современных людей, так и от неандертальцев, хотя к последним были несколько ближе. Скорее всего именно они обитали в Центральной и Восточной Азии синхронно европейским неандертальцам. Вторая волна африканских мигрантов распространилась значительно позже первой, 38–24 тыс. л.н., и проникла как в Азию, так и в Европу. На юге и юго-востоке Азии, в Меланезии и Австралии представители первой и второй волн смешивались, поэтому современные австралийцы и папуасы демонстрируют определенное генетическое сходство с азиатскими популяциями. Сапиенсы, расселяв-

шиеся в северном направлении и продвинувшиеся из региона Передней Азии в приледниковую зону Евразии, первоначально заняли примерно ту территорию, на которой до них жили неандертальцы [Вишняцкий 2008; 2010: 214]. Монголоиды и европеоиды континентальной Евразии разделились сравнительно поздно, хотя и до ледникового максимума.

Данной реконструкции, основанной на выводах генетиков, распределение фольклорно-мифологических мотивов вполне соответствует. Если принимать во внимание лишь космологические и этиологические мотивы, то оказывается, что мифологии индо-тихоокеанского региона содержат больше африканских параллелей, нежели континентально-евразийские мифологии. Это вполне естественно, поскольку как первоначальное расселение в приледниковой зоне, так и приспособление к условиям последнего ледникового максимума должны были потребовать несравненно более глубокой перестройки культуры, нежели освоение тропиков Южной и Юго-Восточной Азии. Само движение раннего потока мигрантов из Африки в восточном, а не в северном направлении явно объясняется отсутствием на юге Азии и в Австралии существенных природно-климатических барьеров, которые бы препятствовали расселению [Eriksson et al. 2012: 16089].

При этом в австралийских мифологиях параллелей с Африкой намного меньше, чем в мифологиях индо-тихоокеанского фронта Азии. В Австралии вообще мало широко представленных на других континентах мотивов, хотя большая близость австралийских мифологий к индо-тихоокеанским, нежели к континентально-евразийским, сомнений не вызывает. Подобная ситуация опять-таки ожидаема, раз австралийские популяции рано отделились от остальных. Очень похоже, что на момент этого отделения устойчивые элементы устных повествований еще только формировались, а к моменту второй миграции (38-24 тыс. л.н.) их стало больше. Речь при этом идет о развитии именно фольклора и мифологии, а не языка, необходимого для их передачи. Язык почти наверняка возник раньше, поскольку уже у самых ранних сапиенсов имелись такие анатомические особенности, которые иначе, как существованием членораздельной речи, объяснить невозможно [Бурлак 2011: 313].

Другая коррекция гипотезы об африканском происхождении сапиенсов касается возможного раннего проникновения сапиенсов

в пределы Аравии и даже Южной Азии [Petraglia 2010]. Речь идет о группах, чьи останки давно известны по находкам в Израиле в горах Схул и Кафзех. Оставили или нет эти люди свой след в генах и тем более в культуре более позднего населения Евразии, пока не ясно.

Ареальная приуроченность двух основных комплексов мотивов мировой мифологии — континентально-евразийского, или бореального, и индо-тихоокеанского, или аустралийского [Васильев и др. 2009: 68–71] — может навести на мысль об их ландшафтно-климатической обусловленности. Первый комплекс в основном характерен для северных областей ойкумены, второй — для южных. Однако зависимость содержания фольклорно-мифологических текстов от природной среды не кажется вероятной. Подавляющее большинство мотивов к климату и ландшафту не имеет отношения. Трудно понять, каким образом наличие выраженного холодного сезона могло привести к появлению историй о герое, спасшем птенцов могучей птицы, а отсутствие такового — к представлению об ответственности Месяца за смертную природу людей. Кроме того, процент аустралийских и бореальных мотивов не обязательно меняется в зависимости от широты. Например, доля аустралийских мотивов в мифологиях индонезийских тораджа и канадских эскимосов примерно одинакова, хотя одни живут близ экватора, а другие — за полярным кругом.

Вывод относительно корреляции мирового распределения фольклорно-мифологических мотивов с маршрутами миграций ранних сапиенсов был сделан не под влиянием открытий генетиков. Материалы стали складываться в соответствующую картину без всякого предварительного намерения со стороны автора этой книги. Однако к тому времени, когда я стал собирать данные по фольклору и мифологии Африки, т.е. к 2006 г., уже было ясно, что мифология и фольклор содержат информацию о весьма отдаленном прошлом. Эта информация заключена не в содержании мифологических текстов, а в конфигурации ареалов, в пределах которых зафиксированы встречающиеся в текстах фабульные, образные и структурные элементы — мотивы. Удалось в частности установить, что большинство мотивов, обычных для индейцев Южной и Центральной Америки, есть также в Восточной и Юго-Восточной Азии, а среди мотивов, характерных для североамериканских индейцев, имеется много сибирских. Азиатско-американские па-

раллели позволили реконструировать наборы фольклорно-мифологических мотивов, которые должны были быть известны в при тихоокеанских областях Азии 15–17 тыс. л.н. и на юге Сибири 12–15 тыс. л.н. или около того. После того как в базу данных были включены материалы по фольклору и мифологии всех регионов мира, открылась возможность пролить свет на еще более древние миграции и реконструировать еще более раннее состояние фольклора и мифологии.

Непосредственная работа над этой книгой началась три года назад. В то время именно «выход из Африки» и его отражение в мифологии (т.е. в территориальной приуроченности определенных мотивов) были определены в качестве главной темы исследования. Однако по мере работы все более важной становилась другая тема — формирование сюжетно-мотивного фонда фольклорно-мифологических традиций южнее Сахары под влиянием контактов с Евразией, т.е. «обратное» движение мотивов из Евразии в Африку. В итоге эта тема вышла на первый план, именно ей почти целиком посвящены последние две главы и заключительный раздел. Читать ее исчерпанной, конечно, нельзя — скорее речь идет о первой попытке разобраться в колоссальном по объему материале.

Определить время и причины распространения тех фольклорно-мифологических мотивов, которые встречаются равномерно по всему миру, нет никакой возможности. Исторические сценарии удастся создать только в тех случаях, когда мотивы представлены в одних регионах и отсутствуют в других. Понятно, что и здесь заключения носят вероятностный характер. Как будет видно из дальнейшего изложения, далеко не всегда удастся определить эпоху формирования тех или иных трансконтинентальных цепочек мотивов. Прошу прощения у читателей, если я недостаточно последовательно избегал категоричных выводов, обращаясь к датировке распространения мотивов. Любые аналитические процедуры чреваты ошибками. Тем не менее уже сам ввод в научный оборот материала, который ранее обобщению не подвергался и в своей совокупности вряд ли кому-то известен, оправдывает, я надеюсь, публикацию этой книги.

Прежде чем обратиться к материалу, хочу еще раз объяснить, что имеется в виду под фольклорно-мифологическими мотивами и почему мотивы могут сохраняться на протяжении тысячелетий.

## Фольклорно-мифологические мотивы

Устные повествования несут на себе печать языковой и культурной среды, в которой распространены. Речь идет о стилистике текстов и о встречающихся в них природных, социальных и бытовых реалиях. Сюжеты же фольклорных текстов не специфичны для людей, говорящих на том или ином языке и обладающих определенной культурой. Сходные повествования представлены в фольклоре разных этнических групп.

Фольклорные тексты не придумывают — их пересказывают. Всякий текст восходит к более раннему тексту, а тот — к еще более раннему, и цепочка эта, как и любая эволюционная цепочка, тянется в неопределенно далекое прошлое. Однако эволюция текстов осуществляется не по кладистской, а по ризотной модели [Moore 1994]. Это значит, что новые варианты возникают не только путем постепенной модификации сюжетов во времени, их разделения на варианты, но и путем межсюжетного обмена текстовыми элементами. Именно поэтому сюжеты [tale-types] невозможно принять за дискретные единицы при статистической обработке массового материала, а попытка так называемой финской школы в фольклористике выявить прототипы отдельных сюжетов кончилась неудачей [Jason 1970]. Для анализа нужны другие, более устойчивые единицы, которые я называю «мотивами». В принципе таковыми могут являться любые фабульные, образные и структурные элементы и их сочетания, если они присутствуют более чем в одном тексте. Практически, однако, речь идет не о любых текстах, а лишь о таких, которые принадлежат разным традициям, а не записаны со слов людей, находящихся друг с другом в контакте. Чтобы определить, какие совпадения между текстами вызваны распространением в этих традициях устойчивого мотива, а какие случайны, желательно иметь по возможности большее число вариантов. Мы использовали мотивы, встречающиеся в пяти и более традициях (чаще всего — в нескольких десятках) и лишь в редчайших случаях, когда мотив особенно своеобразен и надежно опознаваем, — в трех-четыре традициях.

Вот примеры мотивов: «затмения светил вызывает жаба или лягушка»; «в силуэте лунных пятен различим заяц или кролик»; «ныне безрогое животное теряет рога или лишается возможности их получить»; «добыв средство, обеспечивающее бессмертие, персо-

наж засыпает, в это время средство похищает другой персонаж»; «мужчина прячет одежду женщины, явившейся из иного мира (дева-лебедь, -рыба, -звезда и т.п.), заставляя женщину выйти за него замуж или помочь ему»; «мужчина женится на женщине, связанной с верхним миром (она птица, небесная дева, звезда и т.п.)»; «поймав человека, людоед несет свою добычу домой, однако пойманный убегает по дороге»; «тыква оказывается чудовищем-поглотителем или вырастает из останков чудовища».

Таких мотивов в нашем электронном каталоге сейчас около 1700, и распространение каждого прослежено по всем континентам. Предполагается, что тексты, содержащие определенный мотив, включают все его особенности, заявленные в описании, а не просто что-то похожее. Если я иногда пишу о «вариантах» какого-то мотива, то имею в виду просто группу из нескольких мотивов, содержащих общие элементы и связанных одной темой. Дело в том, что мотивы нередко образуют кластеры, так что определения двух или нескольких мотивов перекрывают друг друга. В приведенных выше примерах мотивы спрятанной одежды и женитьбы на небесной деве сочетаются часто, но не всегда. Бывают повествования, в которых герой прячет одежду девы-рыбы, а вовсе не лебедицы, или ловит небесную деву иным способом, не пряча ее одежды. Существенны или нет такого рода подробности и стоит ли их отмечать, это целиком зависит от материала. Если определенная деталь повествования встречается в пределах особого ареала, ее следует выделять. Если же какая-то подробность распределена бессистемно, то сосредоточиваться на ней нет нужды.

Поэтому мы не рассматриваем мотивы, распространенные повсеместно или беспорядочно, но лишь такие, которые присутствуют на одних территориях и отсутствуют на других. Так, мотив добывания огня похищением известен практически по всему миру, поэтому невозможно судить ни о времени его появления на тех или иных территориях, ни о вероятности его распространения из одного или многих независимых центров. При трансконтинентальном обзоре не представляют для нас интереса и мотивы сугубо локальные. Наш каталог создан не для того, чтобы учитывать типы повествований и их элементы (для этого есть общеизвестные фольклорные указатели), а для решения исторических задач — прослеживания древних миграций и контактов между культурами.



Мотивы не осознаются рассказчиками как особые единицы. Носители традиции рассказывают «истории» определенных жанров на определенные сюжеты. Сюжеты вариативны и, как только что было сказано, не всегда ясно разграничены между собой. Тем не менее они опознаваемы: как мы, так и рассказчики текстов отличают одну «историю» от другой. Если сюжеты варьируют, представлены множеством вариантов, то чем тогда определяется их относительная самоидентичность? Она обусловлена тем, что сюжеты включают такие мотивы, которые удобно называть сюжетообразующими. Эти мотивы достаточно сложные, чтобы структурировать повествование, и достаточно яркие и запоминающиеся, чтобы их можно было легко опознать. Именно на них сосредоточено наше внимание.

Вместе с тем в любом тексте содержатся и другие мотивы. Являясь случайными и побочными для одного сюжета, они могут стать центральными для другого. Подобная смена акцентов (постепенное превращение второстепенных мотивов в сюжетообразующие, а тех — во второстепенные) показана в многотомной публикации фольклора южноамериканских индейцев под редакцией Дж. Уилберта [Wilbert, Simoneau 1970–1992] и в публикации текстов конголезских бемба [Verbeek 2006]. Поскольку опубликованы все зафиксированные варианты текстов определенных этнических групп, видно, что деление материала по сюжетам возможно главным образом там, где материал записан от одного информанта или по крайней мере в одном селении. При соединении записей, полученных от всех информантов, сюжеты сплошь и рядом образуют континуум, «перетекают» друг в друга. Даже в западно-евразийских сказочных традициях с их устоявшимся набором сюжетов нередко случаи не просто сюжетной контаминации, но и включения в повествования разного рода обрывков полноценных сюжетов. Среди сюжетных контаминаций есть как часто встречающиеся, так и редкие, единичные. Иначе говоря, сюжет, как и мотив, есть термин, созданный исследователями для систематизации материала, но сам этот материал бывает довольно аморфным и полностью по выделенным ячейкам никогда не раскладывается.

Мотивы как элементы повествований способны переходить из одного рассказа в другой. Меняется язык, истории заимствуются и рассказываются на других языках, но содержащиеся в этих историях мотивы остаются стабильными. Время первичного возникновения мотива определить невозможно. Однако, выявляя ареалы

мотивов и сравнивая их с ареалами культур, языков, генетических линий, которые, по данным археологии, лингвистики и популяционной генетики, реконструированы для определенных эпох, мы можем оценить время распространения мотивов.

Подобно генам, мотивы подвержены самокопированию, или репликации. Делают они это с помощью рассказчиков, а тексты являются той средой, в которой мотивы «живут». Если текст плохо запоминается и не считается важным, его перестают пересказывать и он «умирает». Вместе с ним исчезают и все встроенные в него мотивы, процесс их репликации прекращается. Выживают те, которые использованы в интересных и важных рассказах. На протяжении тысячелетий должен был происходить отбор мотивов, с помощью которых создавались легко запоминавшиеся повествования. Также сохранялись повествования (и, значит, встроенные в них мотивы), которые признавались особо ценными и запоминались намеренно. Определить заранее, какой рассказ станет специально заучиваться, невозможно. Однако мотивы, описывающие появление мира и его элементов, скорее всего имели наиболее высокую вероятность попасть в тексты, которым носители традиции придавали особо важное значение. Подобные мотивы принято называть космогоническими (рассказывающими о становлении мироздания), космологическими (описывающими его устройство) и этиологическими (объясняющими, откуда взялись те или иные особенности людей, животных, растений, небесных светил, минералов и т.п.).

При этом из двух текстов любого рода при прочих равных условиях бóльшие шансы сохраниться имел, надо полагать, тот, который лучше запоминался. Независимо от содержания текстов, их воспроизведение всегда имело и «развлекательную» функцию. Об этом писал в свое время П. Радин [Radin 1944: 31], с которым в данном случае трудно не согласиться.

Логично предположить, что отбор образов и сюжетных ходов на запоминаемость шел тем интенсивнее и быстрее, чем больше людей пересказывали тексты друг другу. В Евразии от Атлантики до Индии и Китая на протяжении последних двух тысяч лет жили десятки, а затем и сотни миллионов рассказчиков и слушателей сказок. В Австралии же до появления там европейцев число знатоков походов тотемных предков измерялось немногими тысячами. При этом в Евразии торговцы, паломники, пираты, пленники, воины разносили запомнившиеся повествования на тысячи километ-

ров. Напротив, каждая группа австралийских аборигенов общалась лишь со своими непосредственными соседями. Отсюда легко понять, почему фольклор основной территории Евразии включает множество относительно сложных, но структурно логичных сюжетообразующих мотивов: каждый из них прошел многократный отбор на запоминание. В австралийском же фольклоре такие мотивы редки, повествования относительно бесструктурны, сюжетные ходы слабо мотивированы и редко предсказуемы.

Если взять наудачу две точки в пределах обитаемой суши и сравнить мифологию и фольклор соответствующих территорий, то какие-то общие мотивы наверняка найдутся. Даже у индейцев Амазонии и берберов Марокко, чьи повествования максимально далеки друг от друга географически и сюжетно, похожие образы и эпизоды встречаются. Доказать, что такие единичные параллели отражают исторические связи, невозможно. Другое дело, если речь идет о распространении серии общих мотивов на данных и только на данных территориях. Тогда предположение об их едином источнике выглядит оправданным. В некоторых случаях достаточно одного, но очень специфического, сложного сюжета, содержащего кластер характерных ярких мотивов. Вероятность независимого параллельного возникновения даже и сложных конструкций никогда не равна нулю, но практически она все же мала. В подобных случаях легче предположить, что сходство обусловлено древними миграциями и контактами, если возможность подобных контактов не противоречит выводам других исторических дисциплин.

По мере сбора и анализа данных автор книги многократно демонстрировал полученные результаты на конференциях разного уровня — от местных до международных. Реакция была одинаковой. Отдельные скептики выражали сомнение, что в ареальном распределении мотивов отражены процессы, происходившие в древности. По их мнению, культурные связи, имевшие место столетия или даже десятилетия назад, а также сюжетно-мотивный состав фольклора и мифологии всецело определяются природными условиями и особенностями социально-экономических отношений (либо форма и содержание текстов обусловлены спецификой фольклора как особой системы). Остальные присутствующие бывали поражены новыми перспективами исследования, о которых они раньше не подозревали. И лишь крайне редко раздавалась конкретная критика: такой-то текст не учтен или неправильно истолкован. Именно этим

коллегам я особенно благодарен. Любое направление в науке более всего нуждается в обмене мнениями между специалистами, разделяющими сходные методические и теоретические установки, но имеющими разное мнение по конкретным вопросам.

## Основные сведения по древней истории Африки

История Африки эпохи до европейских контактов стала известна с достаточной степенью разрешения лишь за последние десятилетия. Во многих районах нога археолога и сейчас еще не ступала. Однако степень изученности (хорошая или недостаточная) есть понятие относительное. Территории, отличающиеся разнообразием природных условий и культур, описать труднее, чем те, где условия монотонны. По сравнению с другими континентами, кроме Австралии, африканский континент однообразен. Здесь представлены лишь три основные природные зоны — тропические леса, саванны и пустыни, которые в процессе климатических изменений лишь меняли свои границы. Территории с климатом средиземноморского типа в Магрибе, Киренаике и на юге континента невелики по размеру и существенного влияния на ситуацию не оказывали. Северное побережье Африки нередко было в большей мере связано со средиземноморским регионом, нежели с внутренними областями континента.

На протяжении продолжительного периода от 60–55 до 14 тыс. л.н. и особенно в период ледникового максимума 24–14 тыс. л.н. (при использовании некалиброванных радиоуглеродных дат — 20–12 тыс. л.н.) в Африке севернее 5–10° с.ш. господствовали аридные условия, а окончательный переход к плювиалу произошел лишь ок. 10 тыс. л.н. [Barham, Mitchell 2008: 264–265, 310; Le Quellec 2009: 173–174; Nicholson, Flohn 1980: 314–321]. В эпоху аридизации высохло не только оз. Чад, но, возможно, и оз. Виктория, Нигер терялся в пустыне, не достигая моря, сток Нила был минимальным [Gifford-Gonzalez 2005: 190]. Для всего периода между 60 и 10 тыс. л.н. следов человека в Сахаре не обнаружено. В период между 14 и 10 тыс. л.н. некоторые районы уже стали достаточно обводнены, но их колонизация, по-видимому, потребовала времени. Возможно, какие-то материалы, относящиеся к этому периоду и даже более ранние, будут когда-нибудь найдены, но это вряд ли приведет к переоценке общей картины: вместе с пустынными областями Юго-Западной Азии

Сахара служила барьером между Евразией и тропической Африкой, которая на протяжении всей второй половины позднего плейстоцена была почти совершенно изолирована от остального мира. Поскольку в раннем голоцене антропологические различия между Северной Африкой и более южными областями на западе континента и в бассейне Нила уже вполне обозначились [Philippson 2005: 181–182], можно предполагать, что возникли они именно в эпоху изоляции юга.

Контакты северо-восточной Африки с остальным миром могли осуществляться через Синай и через Баб-эль-Мандебский пролив. Именно через Синай сапиентные обитатели континента впервые вышли за его пределы, временно заселив Переднюю Азию. Затем, 60–70 тыс. л.н., другая группа сапиенсов преодолела Баб-эль-Мандебский пролив и продолжила миграцию вдоль берега Индийского океана вплоть до Австралии [Barham, Mitchell. 2008: 291–294]. Если оценки генетиков не поменяются, то миграция через пролив произошла незадолго до или синхронно началу кислородно-изотопной стадии 3, для которой характерен относительно теплый по сравнению с максимумами похолоданий, но исключительно нестабильный климат [Вишняцкий 2008: 8–12]. Именно в данный период, как и в эпоху последующего резкого похолодания (кислородно-изотопная стадия 2) Сахара оставалась безлюдной. Обратные миграции в Африку в эпоху позднего плейстоцена, шедшие через Синай, влияли только на ситуацию в Северной Африке. Миграции этого времени в Африку с юга Аравии ни генетиками, ни археологами не фиксируются. На ход культурной эволюции южнее Сахары они в любом случае вряд ли могли повлиять, поскольку сама Аравия оставалась далекой периферией Передней Азии.

Существенные технологические инновации стали проникать в Африку из Передней Азии лишь начиная с VI–V тыс. до н.э., но территорий южнее Сахеля и особенно южнее экватора они достигали с большой задержкой. Лишь при организации систематических торговых экспедиций через Сахару, сначала (с середины I тыс. до н.э.?) с использованием лошади, но в основном лишь после рубежа нашей эры с появлением верблюдов-дромадеров, связи основной части Африки с евразийским миром сделались интенсивными и систематическими [Connog 2004: 35–38, 46, 101–111].

Как бы ни было ограничено влияние переднеазиатских культур на Африку, без него хозяйственно-культурные изменения на конти-

ненте происходили бы еще медленнее. Природные условия большей части Африки эффективно блокировали возможность самостоятельного становления здесь производящего хозяйства и сложных обществ.

Создавая в 1920–1930-х годах теорию происхождения культурных растений, Н.И. Вавилов предположил, что на Эфиопском нагорье находился один из первичных земледельческих очагов [Вавилов 1987а: 133–149; 1987б: 217; Грумм-Грижимайло 1986: 58–69]. Вывод Вавилова соответствовал собранным им ботаническим материалам, но археологи его не подтвердили. Земледелие в Эфиопии появляется не раньше III тыс. до н.э., причем речь идет о злаках ближневосточного происхождения [Connor 2004: 45]. Даже если родственная бананам энсета (*Ensete ventricosum*) была окультурена в раннем голоцене (а это не более чем предположение), речь идет о виде с ограниченным ареалом распространения [Hildebrand 2009]. В Египте земледелие, ставшее известным лишь в начале V тыс. до н.э., было заимствовано из Передней Азии, козы и овцы попали в Африку тысячелетием раньше [Hassan 2003: 130–131]. В Африке было окультурено достаточно много видов растений, в том числе сорго (*Sorghum bicolor*), африканское просо (*Pennisetum glaucum*), африканский рис (*Oryza glaberrima*), а в лесной зоне ямс (*Dioscorea* spp.) и масличная пальма (*Elais guineensis*), однако произошло это самое раннее в IV тыс. до н.э., сказавшись на облике местных культур еще позже. Ни одно из растений не было окультурено в Центральной и Южной Африке. Окультуренные севернее африканские виды затем оказались в значительной мере вытеснены видами американского и индонезийского происхождения [Barham, Mitchell 2008: 395–396], что свидетельствует об относительно низкой эффективности собственно африканского земледелия.

Главным препятствием для становления новых типов хозяйства и более сложных форм социальной организации в Африке явилась неустойчивость погодных условий в большинстве областей континента. Количество осадков и время их выпадения, а также динамика речных паводков существенно меняются от года к году. В подобной ситуации оптимальной могла быть широкая адаптация и мобильность, но никак не специализированное собирательство, трансформирующееся в земледелие. После того как производящее хозяйство все же получило распространение, главную роль чаще всего стало играть не земледелие, а скотоводство [Gagsea 2004: 138]. Впрочем, в тропической Африке и для него имелся мощный

барьер — муха це-це, переносящая смертельную для скота инфекцию. Барьер имелся и на пути распространения ячменя, пшеницы и других окультуренных на Ближнем Востоке растений, поскольку они были приспособлены к средиземноморскому климату с выпадением осадков зимой.

Огромное влияние на историю Африки оказали климатические колебания конца плейстоцена и голоцена. Примерно 14 тыс. л.н., как уже говорилось, аридные условия в Северной Африке сменились плувиальными. После 600-летнего периода похолодания и аридизации (поздний дриас) в XI тыс. до н.э. начался голоцен, Сахара стала получать достаточно осадков, а разлившийся Нил затопил заселенную полосу нильской долины. В результате население из бассейна Нила стало распространяться на запад [Gifford-Gonzalez 2005: 190]. Создатели этой культуры рубежа плейстоцена и голоцена занимались рыбной ловлей на озерах и реках, и ее маркирующим признаком являются костяные гарпуны. В Магриб она не проникла, там представлена капсийская культура, восходящая к местным более ранним палеолитическим комплексам. В тот же период, т.е. в IX, если не в X тыс. до н.э., по всей Сахаре распространяется керамика — самая ранняя в мире за пределами Восточной Азии [Haour 2003: 207–208; Huyssecom et al. 2009; Le Quellec 2009: 174–175; Smith 1992].

Предполагается, что лишь дважды в африканской истории, причем оба раза на севере, был самостоятельно преодолен порог, отделяющий производящее хозяйство от присваивающего. Первый раз это случилось в восточной Сахаре, где в VII тыс. до н.э. мог быть одомашнен крупный рогатый скот. Поскольку, однако, несомненных находок костей домашнего быка ранее середины V тыс. до н.э. в Северной Африке нет, остается вероятность того, что генетическое своеобразие африканского скота вызвано скрещиванием передневожосточного скота с местным диким быком. В литературе по этой проблеме есть очень разные мнения [Barker 2002; Connor, Graham 2004: 40–43; Garcea 2004: 116–117, 141; Honegger 2009: 4–5; Le Quellec 2009: 178–180; Robbins 2006: 82]. Более надежен факт окультуривания африканского проса, сорго и некоторых других видов в Сахеле не позже конца III тыс. до н.э. [Connor, Graham 2004: 43–44].

К югу от Сахары и к западу от бассейна Нила производящая экономика распространилась в III–II тыс. до н.э., а в Кении —

в IV–III тыс. до н.э. [Gignoux 2011; Hassan 2003: 130; Lane et al. 2007: 78; Robbins 2006: 82; Smith 1992: 131; Stahl 1994: 71–72]. При этом скотоводы и охотники северо-западной Кении, которые во второй половине III тыс. до н.э. воздвигали сооружения из каменных плит, что косвенно свидетельствует об усложнении общественной организации, выращиванием растений не занимались [Hildebrand et al. 2011]. Даже если допустить, что какие-то носители нило-сахарских и афразийских языков были вовлечены в процесс становления производящей экономики еще в раннем голоцене, районов южнее Сахары и особенно южнее Сахеля эти новшества не коснулись. Земледелие распространилось в экваториальной Африке не ранее середины II тыс. до н.э., а южнее экватора — тысячелетием позже, причем охота и собирательство повсеместно сохраняли большое значение.

Для сравнения отметим, что процесс окультуривания растений в Южной Америке, включая районы, где, как и в Африке, расположены тропические леса и саванны, начался, если опираться на калиброванные радиоуглеродные даты, в IX и даже в X тыс. до н.э. [Clement et al. 2010: 92; Dillehay et al. 2011: 95–105, 179–185, 276–281; 2012: 68; Erickson et al. 2005; Pearsall 2008: 110; Piperno 2011: 276; Piperno, Pearsall 1998: 314; Rossen 2011: 95–106]. Когда человек впервые проник в Новый Свет, вопрос спорный, но древнейшие археологические свидетельства в Южной Америке почти повсеместно относятся к X–XI тыс. до н.э. Это значит, что сразу же после первичного освоения территории и достижения демографической емкости, обусловленной возможностями природной среды, предки индейцев начали эту среду изменять.

Формы хозяйства как таковые не определяют содержание фольклорно-мифологических текстов. Атапаски Аляски земледелием тоже не занимались и карибу не разводили, но их мифология — одна из богатейших в мире. Позднее и медленное становление производящего хозяйства в Африке для нас важно в качестве показателя общей консервативности культуры, а эта консервативность, как было сказано, стала следствием прежде всего неблагоприятных природных условий. Помимо климата, здесь можно отметить монотонность ландшафтов. В Африке, кроме Эфиопии, нет значительных горных областей, затрудняющих контакты между отдельными ареалами, а береговая линия сглажена. С одной стороны, Сахара на протяжении тысячелетий надежно отделяла большую часть континента



от Евразии. С другой стороны, территории южнее Сахары были легко проницаемы для распространения элементов культуры, а состав флоры и фауны был однороден. Все это препятствовало формированию существенно различающихся вариантов культурной эволюции, которые в дальнейшем могли бы взаимодействовать, вырабатывая все более сложные формы.

Что касается языков Африки, то их относят к четырем макро-семьям: афразийской, стоящей несколько особняком, поскольку не исключено ее происхождение из Леванта, нило-сахарской, нигер-конго и койсанской (рис. 1). Точнее сказать, койсанские языки не образуют генетического единства, хотя и отличаются от других наличием специфических общих признаков. Некоторые языки включены в макро-семьи предположительно и, вполне возможно, являются изолятами. Среди языков нигер-конго особое место занимают банту. От своих ближайших родственников в Нигерии и Камеруне (так называемых бантоидов) они отделились 4–5 тыс. л.н. и затем распространились на огромных пространствах Центральной, Восточной и Южной Африки. Западного берега озера Виктория банту достигли в середине I тыс. до н.э., принеся с собой навыки скотоводства, земледелия, выплавки железа и производства керамики. Во II в. н.э. подобная культура, известная как археологический комплекс чифумбазе, быстро распространилась по Замбии, Зимбабве, Мозамбику, Малави, достигнув Свазиленда [Phillipson 2005: 249–262]. Языки семьи банту в Восточной и Юго-Восточной Африке образуют более тесное единство, чем те языки, которые распространены в области экваториальных лесов, причем археологический комплекс чифумбазе представлен, насколько пока известно, только в пределах распространения восточных языков [Phillipson 2005: 264]. Различие между востоком и югом бантуязычного ареала, с одной стороны, и его северо-западом, с другой, прослеживается, как мы увидим, и в распространении фольклорно-мифологических мотивов. Проникновение культуры, носителями которой практически наверняка были банту, вглубь Южной Африки и в Намибию произошло примерно в XI в. н.э. и было связано с распространением более специализированного скотоводческого хозяйства [Phillipson 2005: 268–269].

Возвращаясь к культурно-хозяйственной истории Африки в пределах того временного отрезка, который представляет для нас интерес, можно зафиксировать в ней пять основных этапов. Пер-

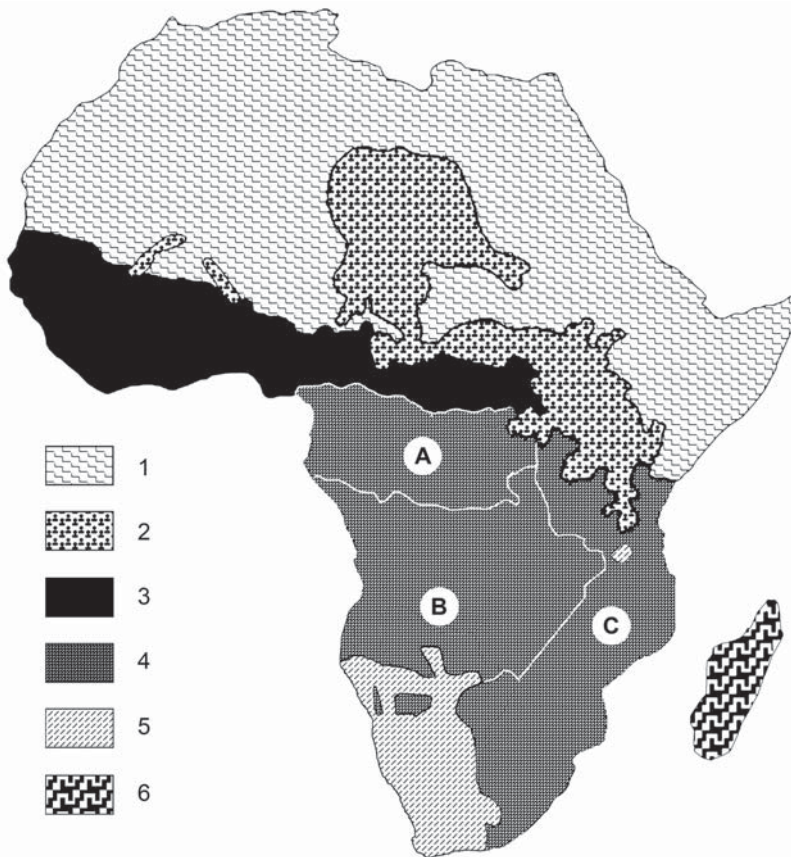


Рис. 1. Языковые макро-семьи Африки. 1. Афразийская. 2. Нило-сахарская. 3. Нигер-конго [без банту]. 4. Банту. 5. Койсанская. 6. Австронезийская [мальгаша Мадагаскара]. А. Западные языки банту, ближе всех родственные «бантоидным». В. Языки, демонстрирующие сочетание западных и восточных элементов. С. Восточные языки банту. По [Phillipson 2005: fig. 132].

Fig. 1. Language macro-families of Africa. 1. Afrasian. 2. Nilo-Saharan. 3. Niger-Congo (without Bantu). 4. Bantu. 5. Khoisan. 6. Austronesian (the Malagasy of Madagascar). A. Western Bantu languages most closely related to Bantoid languages. B. Bantu languages showing western and eastern features. C. Eastern Bantu languages.

вый, ранее 10 тыс. л.н., — эпоха господства присваивающей экономики как на севере, так и на юге и наличие гигантского пояса пустынных незаселенных пространств в Сахаре. Не позже конца этого периода формируются антропологические различия между негроидным населением тропического пояса и европеоидами Магриба и, вероятно, Египта. Второй этап — время в промежутке от 10 до 5–6 тыс. л.н., когда климат Сахары стал более влажным и люди ее заселили. В это время на севере Африки, выше примерно 18° с.ш., появляются скотоводство и земледелие, но их влияние на экономику и общий облик культуры южнее Сахары остается слабым. Третий период — от конца IV тыс. до н.э. и примерно до рубежа нашей эры. Производящее хозяйство постепенно распространяется по всему тропическому поясу Африки, а Сахара вновь превращается в пустыню. С точностью до столетия время этой аридизации пока не определено, но если (что весьма вероятно) оно совпадает с глобальным похолоданием, известным как «эпизод 5200 л.н.», то речь должна идти о конце III тыс. до н.э. [Weiss 2000: 76–77]. Территории южнее экватора в этот период все еще заняты охотниками-собираателями. В пустынях и саваннах это койсаны, в области тропического леса — пигмеи. Отдельные группы тех и других генетически сильно отличаются друг от друга, что свидетельствует о многотысячелетнем развитии в условиях ограниченных контактов с соседями [Lachance et al. 2012]. После рубежа нашей эры наступает последний этап истории Африки эпохи до европейской колонизации: земледельцы и скотоводы распространяются вплоть до юга континента, а группы охотников-собираателей либо остаются в пустынях юго-запада, либо образуют небольшие анклав, обитатели которых взаимодействуют с окружающим негроидным населением, чье хозяйство основано на земледелии и скотоводстве.

По мере движения на юг бантуязычные группы включали в свой состав представителей более раннего населения, но культурное и социополитическое развитие Африки к югу от экватора не было результатом спонтанной эволюции местных обществ. Банту так же несли с собой возникшие ранее социокультурные формы, как впоследствии это делали европейцы. Отсюда чрезвычайно быстрое появление на юге Африки государственных или близких к государственным образований, предысторию которых надо искать в более северных областях континента. Около 1000 н.э. начинается возвышение Зимбабве [Chirikure, Pikirayi 1998: 981], которое явля-

лось если не государством, то «аналогом государства» типа супер-сложного вожества [Гринин, Коротаев 2012; Grinin, Korotayev 2011]. Зимбабве было создано народом шона, в его столице жило почти 20 тыс. человек. После упадка Зимбабве около 1500 н.э. политической силой не меньшего масштаба становятся суто-чвана, а в начале XIX в. — зулу [Connog 2004: 159–167]. Таким образом, на юге Африки между, условно говоря, «мезолитом» и эпохой ранних государств прошла лишь тысяча лет.

В первых веках нашей эры начинаются контакты восточного побережья Африки с азиатскими культурами бассейна Индийского океана. Ко времени появления европейцев вдоль побережья от Сомали до Мозамбика тянулась цепочка городов-государств, бывших проводниками исламской культуры [Kesby 1977: 74–76]. Самым очевидным результатом контактов на раннем этапе стало заселение австронезийцами Мадагаскара, начавшееся, скорее всего, в VII в. н.э. На острове или по пути к нему малайцы или яванцы, взяв с собой женщин и команду, состоящую из обитателей юго-западного Калимантана, должны были где-то принять в свой состав бантуязычных африканцев. Сейчас четверть генов у мальгашей африканского происхождения, а три четверти — австронезийского, причем это касается как передающейся по материнской линии митохондриальной ДНК, так и Y-хромосомы. В языке мальгашей есть заимствования из банту, касающиеся, в частности, культурной флоры и фауны [Adelaar 2009; 2012: 145–149; Phillipson 2005: 261].

Судя по внезапным и явно антропогенным изменениям в составе дикой флоры и фауны острова, люди впервые проникли на Мадагаскар в IV–III веках до н.э. Народов банту в Восточной Африке в это время еще не было, так что о культурной и языковой принадлежности этого раннего населения пока можно только гадать (кушиты либо более ранняя группа австронезийцев). Следов людей, которые бы пользовались не железными, а каменными орудиями, на Мадагаскаре не обнаружено. Впрочем, прямые свидетельства присутствия человека на острове вообще появляются лишь через 500 лет после того, как происходят изменения в экологии [Adelaar 2012: 146; Burney et al. 2004: 32–35]. Домашний скот на Мадагаскар привезли, по-видимому, мусульманские торговцы или колонисты в конце I тыс. н.э. Каких-то специфических особенностей фольклора мальгашей, которые бы отличали его как от австронезийского, так и от фольклора банту, не заметно.

Относительно культурных влияний на Африку со стороны Индийского океана в период до заселения Мадагаскара австронезийцами конкретных данных мало, и наши оценки основаны на предположительном времени распространения определенных элементов культуры внеафриканского происхождения [Adelaar 2012: 145]. Римские монеты в Восточной Африке не найдены, хотя арабских, индийских и китайских много [Connor 2004: 107]. До X в. н.э. в письменных источниках нет данных о плаваниях китайцев не только к берегам Африки, но и в Персидский залив [Вельгус 1978: 163]. Гипотезы о выращивании бананов в Уганде и в Камеруне в I тыс. до н.э. и даже в III тыс. до н.э. [Barham, Mitchell 2008: 397; Connor 2004: 49] основаны на находке немногочисленных фитолитов, которые трудно отличить от фитолитов родственной бананам африканской энсеты [Neumann, Hildebrand 2009]. Что касается контактов с Южной или Юго-Восточной Азией, относящихся к периоду вскоре после рубежа нашей эры, то они доказываются распространением с этого времени в Восточной Африке зебувидного скота, который вытеснил здесь более ранний безгорбый скот [Connor, Graham. 2004: 46; Robbins 2006: 64]. Вероятная причина — лучшая приспособленность зебу к аридным условиям [Matthews, Roger 2002: 440]. Однако указать время появления зебувидного скота с точностью до столетия пока не удается.

### **Африканский фольклор — предварительная характеристика**

Систематическое описание африканского фольклора в нашу задачу не входит. Любое описание вообще имеет смысл постольку, поскольку результатом становится более или менее формализованная база данных. Подобная база уже существует, это каталог фольклорно-мифологических мотивов, в котором африканские и другие данные интегрированы в рамках единой системы.

Создание базы данных есть необходимый, но предварительный этап работы, на основе которого можно приступать к аналитической части — поиску ответов на поставленные вопросы. В нашем случае главных вопросов два. Первый — какие фольклорно-мифологические мотивы могут быть с разумной долей вероятности отнесены к древнейшим, возникшим в Африке десятки тысяч лет назад и принесенным оттуда в другие регионы мира. Я уже предлагал от-

вет на подобный вопрос в ряде статей [Березкин 2009а; 2009б; 2010; Berezhkin 2009a; 2009b; 2010b; 2010c; 2011], и теперь речь идет о повторном критическом рассмотрении материалов. Второй вопрос или несколько связанных друг с другом вопросов — каково происхождение основного (за вычетом предполагаемого древнейшего ядра) сюжетно-мотивного фонда африканского фольклора. Развился ли он преимущественно на месте или возник в результате заимствований из Евразии? Если заимствования происходили, то к какому времени они относятся и каков их источник? Под таким углом зрения африканский фольклор еще не рассматривался.

Подчеркну еще раз, что ответить на подобные вопросы фольклористика сама по себе не в состоянии, поскольку фольклористы сами не могут датировать время появления тех или иных мотивов и сюжетов. В свою очередь, материалы археологии и популяционной генетики молчат о том, какие истории рассказывали люди в прошлом. Различные дисциплины встречаются лишь в одном общем для них пространстве — пространстве географической карты. Конфигурация фольклорных ареалов может быть понята только исходя из данных других дисциплин относительно времени появления и ареальной конфигурации определенных культурных общностей, степени их изолированности и т.п. По мере изложения мы будем обращаться к тем конкретным заключениям специалистов, занимающихся исследованием прошлого, которые позволяют датировать фольклорно-мифологические мотивы и наметить вероятные пути их распространения.

Такого рода исследования не обязательно касаются Африки: ключ к проблемам древней истории континента нередко следует искать на противоположной стороне земного шара — в Сибири и Америке. Характер поставленных вопросов вообще предполагает, что исследование не может ограничиваться африканскими материалами, африканский фольклор рассматривается на фоне фольклора других регионов. Подобная работа стала возможной постольку, поскольку внеафриканские материалы уже были систематизированы в период между 1990 и 2010 гг.

Что касается самой Африки, то основные сведения по фольклору и мифологии этого континента имеются для народов, говорящих на языках нигер-конго. Речь идет о той части континента, которая на протяжении десятков тысячелетий оставалась изолированной от остального мира и где производящее хозяйство распространилось

либо в III—I тыс. до н.э. (тропический пояс от Сенегала до Кении), либо после рубежа нашей эры, либо до самых недавних пор вообще отсутствовало. Материалов по афразийцам (не считая чадских народов) и нило-сахарцам меньше. Для Северной Африки мы располагаем ранними египетскими источниками. Как и любые древние традиции, египетская нашла лишь фрагментарное отражение в письменных текстах, да и сохранившаяся выборка этих текстов наверняка представляет собой лишь часть того, что было когда-то записано. Относительно много данных есть по фольклору Магриба, но в основном это волшебная сказка. Наиболее остро ощущается недостаток данных по фольклору групп, говорящих на сахарских и кушитских языках, причем для значительной части территории Нигера, Чада, западного Судана (Дарфур) и Эритреи материалов у меня почти нет. Можно лишь надеяться, что эту лауну еще удастся заполнить.

Фольклор и мифология койсанов, т.е. бушменов и хойхой (готтентотов), довольно полно отражены в публикациях. К сожалению, многие тексты известны мне по вторичным источникам, так что их связь с носителями конкретных языков не всегда понятна. Следует еще раз заметить, что койсанские языки обладают общими признаками (щелкающие звуки для передачи фонем), но совершенно необязательно имеют единое происхождение. Разграничительные линии между койсанскими языковыми семьями не совпадают с делением койсанских групп юга Африки на охотников-собираателей (бушменов) и скотоводов (хойхой, «готтентотов»). В то же время существенных различий между наборами мотивов у отдельных групп южноафриканских койсанов не заметно, так что для наших целей низкая степень разрешения в классификации этого материала не критична. Что касается койсанов Восточной Африки, а также различных групп пигмеев, то сведений по фольклору и мифологии этих народов для обобщений недостаточно. Тем не менее наличие у пигмеев, сандаве и хадза некоторых специфических мотивов существенно.

Систематически собирать сведения о повествовательных текстах и космологических представлениях народов Африки я начал, как уже было сказано, лишь в 2006 г., и уже через год основные особенности, характерные для африканских мифологий и фольклора, стали ясны. С тех пор намеченные тенденции лишь подтверждались. Я сразу же назову их, хотя к обобщениям мы, разумеется, еще вернемся.

По сравнению с другими региональными мифологиями африканские содержат мало космологических и этиологических повествований. Среди имеющихся львиную долю составляют рассказы, объясняющие появление смерти. Объяснения физических особенностей животных и особенно растений очень редки, причем рассказы о происхождении культурных растений, а не земледельческой технологии, практически отсутствуют. Не развиты и представления о ночном небе и астральная мифология. Большинство записанных в Африке повествований — это трикстерские истории с зооморфными протагонистами, в которых рассказывается, как один персонаж обманывает другого. Достаточно многочисленны и приключенческие сюжеты с антропоморфными протагонистами, причем значительная часть соответствующих сюжетов совпадает с характерными для Евразии.

Африканистам эти особенности, конечно, знакомы, однако они не являлись предметом исследования. Это случилось потому, что в изучении африканского фольклора господствовали и господствуют те направления, которые не рассматривают данный материал в качестве исторического источника. Исключением был Джеймс Фрэзер, благодаря которому такие мотивы африканской мифологии, как «смена кожи как условие бессмертия», «запретный плод», «Вавилонская башня», стали известны тем антропологам, которые сами в Африке не работали. Однако Фрэзер являлся стадалистом. Замеченные им параллели между фольклором и мифологией Африки и других регионов (Передней Азии, Меланезии, Южной Америки) Фрэзер воспринимал в качестве пережитков раннего состояния мифологии вообще, а не как возможные свидетельства конкретных древних миграций или контактов. С середины XX в. господствующее положение в фольклористике заняли школы, представители которых интерпретировали тексты как порождение народного духа (М. Гриоль), как конструкции, свойственные нашему интеллекту (структуралисты), а чаще всего как материал для изучения этнической идентичности в функциональном ключе. Последнее направление никаких возражений не вызывает, просто его сторонников интересуют иные проблемы, нежели автора этой книги. Что же касается исторической проблематики, то после Фрэзера Африка осталась в стороне от нее. Отдельные работы, посвященные сравнению вариантов текстов и прослеживанию путей их распространения, время от времени появляются [например, d'Нуу 2012; Sicard 1965], однако они остаются в незначительном меньшинстве.



Если предметом нашего исследования является распределение фольклорных мотивов, то целью — реконструкция исторических процессов, которые на подобное распределение повлияли. Для этого, как уже было сказано, Африку необходимо рассматривать на фоне других континентов. Соответственно возникает необходимость привлечь почти все публикации, использованные в нашем электронном каталоге. Таковых почти пять с половиной тысяч, и объем монографии процитировать их все просто не позволяет. Поэтому в ней *оставлены только ссылки на наиболее существенные для аргументации или редкие тексты, а большинство ссылок на источники, равно как и русские резюме текстов, читатель найдет на сайте* <http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin>.

Поиск легче всего вести по номерам мотивов, под которыми они фигурируют в базе данных, поэтому эти номера приведены по ходу изложения. Они обозначены латинскими буквами от А до М, после которых следует цифра и иногда снова буквы и цифры (Е5аа, F9А, Н4, М16А и т.п.). В первом приближении разделы от А до I включают мотивы космологические и этиологические, а от J до М — приключенческие и трикстерские. Эта классификация не всегда последовательна, но улучшать ее нет особой необходимости, поскольку обозначение мотивов и их размещение по разделам при компьютерном поиске не имеют значения. Перед номерами сюжетов по международной классификации (Uther 2004) поставлено сокращение АТУ (Aarne–Thompson–Uther). Для восточнославянской сказки используется сокращение СУС (см. список литературы). Карты мирового распространения большинства рассматриваемых мотивов включены в книгу, а в ином формате доступны на сайте <http://starling.rinet.ru/kozmin/tales/index.php?index=berezkin>

Всякий раз я старался по возможности пользоваться оригинальными публикациями или хотя бы достаточно полными пересказами, но иногда без материалов указателей обойтись было невозможно. Указатель АТУ неплохо отражает содержание европейского фольклора, но грешит ошибками в отношении сюжетной классификации и этнической атрибуции среднеазиатских и сибирских текстов, которые к тому же представлены в нем крайне неполно. Указатель для Южной Азии [Thompson, Roberts 1960] хотя и содержит информацию о районах записи и отчасти этнической принадлежности текстов, однако существенно устарел. Из двух указателей фольклора Китая один [Ting 1978] практически бесполезен, по-

скольку он такой информации не содержит. Другой [Eberhard 1937] также не дает сведений об этнической принадлежности записей, но хотя бы указывает, в каких провинциях они сделаны. В указателе арабского фольклора [El-Shami 2004] дается лишь перечень стран, в которых встречаются те или иные сюжеты АТУ; пересказов содержания текстов, пусть самых кратких, в нем нет. Среди использованных указателей наиболее подробную информацию о вариантах сюжетов и местах записи содержат описывающие фольклор Болгарии и Японии [Даскалова-Перковска и др. 1994; Ikeda 1971].